Игорь Стрелец



Ничто не принадлежит

Игорь Стрелец

Ничто не принадлежит

«Автор»
2026

Стрелец И.

Ничто не принадлежит / И. Стрелец — «Автор», 2026

Ленинград, 1988 год. Игорь работает фотографом и привык верить снимкам больше, чем словам. Но однажды он фотографирует женщину, чьё лицо каждый раз оказывается другим. Её зовут Милада. Она говорит загадками, оставляет после себя странный словарь из обычных предметов и однажды исчезает.Игорь начинает поиски. Фотографии, коммунальная квартира с чудаковатым графом, чужие воспоминания и две непарные перчатки постепенно складываются в историю, которой, кажется, не должно быть объяснения.«Ничего не принадлежит» — мистическая повесть о памяти, любви и исчезновении, о людях, которых невозможно удержать, и о том, что иногда самое важное остаётся с нами, даже когда мы не можем этого понять.

© Стрелец И., 2026
© Автор, 2026

Игорь Стрелец
Ничто не принадлежит

Ничего не принадлежит

Это, пожалуй, самое честное состояние человека: когда ничего не принадлежит, но все доступно.

Пролог

Во вторник, двадцать пятого октября, в восемь утра она вышла из проходной. Игорь ее не встретил.

Игорь позвонил из автомата на углу. Звонок бился в коридоре между пальто и графиком уборки, и никто не снял трубку, потому что в это время в квартире не бывает никого, кроме тех, кто спит после смены.

Он пошел туда сам. На кухне под абажуром сидел сосед, граф Виктор Ламберт, и рисовал карандашом чайник, стоявший перед ним.

– Ее нет, – сказал граф вежливо, без сожаления, как сообщают время. – Но вы садитесь. Чайник еще теплый, а это в наше время редкость.

На блюдце две чаинки – след,
На крышке – лампы медный свет.
И чайник стынет до утра,
А на листе еще искра.

Граф не знал, где она. Он не знал, откуда она. Он знал только, как она берет чашку – двумя пальцами, будто у чашки есть температура за пределами кипения.

У Игоря к тому утру было двести с лишним ее снимков, и ни один не повторял другого. Он считал это профессиональной неудачей: не может же человек быть каждый раз другим.

Он пошел искать. У него было двести с лишним лиц и ни одного адреса.

Глава первая. Фотография на документы

В кооперативном ателье «Мгновение» на витрине висели три образца: мужчина в костюме, который ему явно одолжили, женщина с начесом, пережившим три правительства, и ребенок, смотревший в сторону выхода. Под образцами было написано: «Фото на документы. Срочно. Художественное фото». Художественное фото никто не заказывал: в этом году художественным было все, что не по талонам.

Игорь работал здесь второй год и снимал паспорта, пропуска, визы, которых никто не давал, и покойников, которых приносили родственники с уже готовыми рамками.

В понедельник, двадцать шестого сентября, в ателье вошла женщина, и очередь перестала быть очередью, сделавшись зрителями.

Она была высокая и белая до неприличия: в городе, где солнца не бывает полгода, такая белизна означает либо болезнь, либо породу. Волосы лежали на плечах тяжелой копной, как будто их укладывали не в парикмахерской, а в конюшне, но в конюшне графской. Глаза – узкие, веселые, с беспощадным разрезом, из-за которого ее потом всю жизнь будут сравнивать с Лайзой Миннелли, и она будет позволять это сравнение, как позволяют родственнику сидеть за столом.

– На пропуск, – сказала она. – В больнице меняют пропуска. Всех фотографируют заново – на случай, если кто-нибудь решит выздороветь и уйти.

– Три на четыре, – сказал Игорь. – Смотрите в объектив. Не улыбайтесь. Голову прямо.

– Я умею прямо.

Она села. Она не двигалась. Менялось лицо.

Он снял четыре кадра, как положено, потом еще четыре, потому что первые четыре уже были неправдой. На первом снимке была медсестра, аккуратная и слегка насмешливая. На втором – женщина, которой этот пропуск не нужен, потому что у нее есть поместье. На третьем – та, что уже вышла за дверь и еще не обернулась. На четвертом сидела девочка лет девяти, и Игорь, глядя на нее через видоискатель, впервые в жизни забыл, что держит камеру.

– Готово? – спросила она.

– Нет, – честно сказал он.

– Обычно наоборот говорят.

Пленка кончилась. Он зарядил новую, свою, и это было первое нарушение служебной инструкции из тех, что потом составят его биографию.

В очереди стоял мужик в кепке, с папкой, из которой торчали разлохматившиеся квитанции, всем было одинаково скучно.

– Гражданка, – сказал он в спину, – вы долго? У нас тут не выставка.

Она повернула голову.

Игорь потом много раз пытался описать этот взгляд и всякий раз врал. Ничего хищного в нем не было, ничего злого – просто холодная сталь, спокойная, как предмет, лежащий на своем месте. Мужик посмотрел в этот предмет, узнал в нем что-то про себя и снял кепку.

– Я подожду, – сказал он. – Я вообще не в очередь. Я так, посмотреть.

Лаборантка Люся выписывала квитанцию и, не поднимая глаз, спросила:

– Фамилия?

– Валевская.

– Это ваша настоящая фамилия?

– Какая разница?

– Простите, – сказал мужик, смелея. – Вы, кажется, актриса?

– Вам кажется – вам и отвечать.

– Я вас где-то видел, – сказал он, уже не так уверенно.

– Значит, плохо смотрели, – сказала она.

Люся поставила печать. Мужик надел кепку, тут же снова снял и до конца очереди изучал путевые листы, как человек, которому только что напомнили, что документы – это не все.

Игорь выдал ей четыре снимка для пропуска: те, где она смотрела прямо и была никем. Остальные остались у него, и это было второе нарушение.

– Мне нужно снять вас еще раз, – сказал он. – Не на пропуск.

– Зачем? У вас восемь снимков.

– У меня восемь женщин.

Она впервые посмотрела на него внимательно, и до этого его в комнате не было.

– Вы хотите лучший?

– Я хочу знать, как вы выглядите.

– Это дорого, – сказала она без кокетства, как называют цену вещи, которая действительно дорого стоит.

Кофе он предложил в «Сонетах», через два дома: кооперативное кафе, где на стене висел выцветший сонет, вырезанный из журнала, а под ним – прейскурант, и оба документа одинаково никто не читал. Он заплатил. Она позволила заплатить – не благосклонно, а спокойно, как принимают должное, и руки у него под столом дрожали, потому что благосклонность он умел отрабатывать, а должное – нет.

За соседним столиком два дальнобойщика до хрипоты обсуждали, кому уступят дорогу на выезде из города. Когда она подняла глаза, обсуждение закончилось само. У стойки стоял милиционер, и, поймав ее второй взгляд – тот, второй, – забыл, зачем пришел, и взял себе компот. За компот он заплатил дважды.

– У вас дома кто? – спросил Игорь.

– Трое и граф.

– Кто?

– Граф. Виктор Ламберт. Сосед. Он сидит на кухне под абажуром и рисует. Иногда говорит стихами – тогда в ларьке ему наливают без очереди. У него настоящие метрики, он их показывает всем, кто попросит, и никто не просит.

– А почему граф на кухне?

– Потому что абажур на кухне, – сказала она. – У нас в квартире все решает свет.

Она поставила чашку и добавила, будто вспомнив о пустяке:

– У меня есть пластинка. Шумов, «Центр». Приходите слушать. Только не в кухню – там граф. И не в комнату – там я.

Милада сняла пальто с вешалки и посмотрела на часы.

– Мне пора. Завтра рано вставать.

Они вышли из «Сонетов». На улице было сыро, фонари отражались в асфальте длинными желтыми полосами. До ее дома оставалось два квартала. Игорь шел рядом, стараясь не говорить слишком много. Разговор за кофе получился странным: они успели обсудить фотографию, музыку, работу, но почти ничего не узнали друг о друге. По крайней мере, так ему казалось.

Домой он проводил ее до двери.

У парадной Милада остановилась.

– Вы ведь хотели посмотреть, как я живу?

– Я говорил, что хотел бы послушать пластинку.

– Это почти одно и то же. Пойдемте, покажу, где у нас можно слушать музыку. Если, конечно, граф не занял проигрыватель.

Она открыла тяжелую дверь. Они поднялись на третий этаж и остановились перед дверью с несколькими звонками. Милада отперла ее своим ключом.

В квартире пахло вареной капустой, табаком и чем-то сладким, давно остывшим. Из кухни доносился голос радиоприемника. В коридоре пальто соседствовали с графиком уборки, составленным еще при прежнем составе жильцов, а на стене колесом вверх висел велосипед, словно его застали за попыткой выбраться из квартиры. Из кухни шел желтый свет, единственный теплый свет во всем доме.

– Проходите. Только осторожнее, здесь всегда что-нибудь стоит не на месте.

В коридор выглянул пожилой мужчина в темном жилете. Он держал в руке чашку и смотрел на Игоря с нескрываемым любопытством.

– Милада, у нас гости?

– Граф, это Игорь. Игорь, граф Ламберт.

Мужчина слегка поклонился.

– Виктор Ламберт. К вашим услугам, хотя услуги мои, должен предупредить, весьма ограниченны.

– Очень приятно, – сказал Игорь.

– Взаимно. Вы фотограф?

Игорь удивился:

– Откуда вы знаете?

– Вы смотрите. Милада сегодня была предметом съемки, насколько я понял. Надеюсь, вы обошлись с ней бережно.

– Постарался.

– Это правильный ответ, – сказал граф и отпил из чашки.

Милада коснулась локтя Игоря.

– Пойдемте. Пока граф не начал рассказывать историю нашего дома.

Она провела его по короткому коридору к двери своей комнаты. Приоткрыла ее, пропуская внутрь полоску света. Игорь увидел книжную полку, край письменного стола, несколько пластинок на подоконнике.

– Вот здесь я обычно слушаю музыку. В следующий раз поставлю вам «Центр».

– Значит, будет следующий раз?

– Если вы не передумаете.

Она произнесла это спокойно, без кокетства, и Игорь не сразу нашелся с ответом.

– Не думаю, что передумаю.

– Тогда до встречи.

Они вернулись в прихожую. Граф уже скрылся на кухне, откуда теперь доносилось негромкое покашливание. Милада открыла входную дверь.

– Спасибо за кофе, – сказал Игорь.

– Это вам спасибо за фотографии.

Он вышел на лестничную площадку. Милада еще секунду постояла в дверях, потом пожелала ему спокойной ночи и закрыла дверь.

На улице Игорь не сразу пошел к остановке. Он постоял у парадной, глядя на освещенные окна третьего этажа. За одним из них мелькнула тень, но он не стал гадать, ее ли это была.

В кармане лежали четыре негатива, которые он не отдал Люсе на проявку, и еще четыре снимка, оставшиеся у него после съемки. Восемь карточек. Восемь разных лиц одной женщины. Он перебрал их в уме, хотя знал, что не сможет восстановить ни одного в точности.

На обратном пути он зашел в круглосуточный гастроном, купил пачку папирос и долго искал спички в карманах. Продавщица смотрела на него с тем выражением, с каким смотрят на человека, который пришел за одним, но забыл, за чем именно.

Дома он не стал включать свет. Положил снимки на стол, снял куртку и снова взял карточки. На одной Милада смотрела прямо в объектив. На другой чуть отвернула голову. На третьей ее лицо было почти детским. Четвертая получилась такой, что он не мог бы показать ее даже ей самой.

Он достал лупу, хотя увеличивать было нечего. Игорь привык к тому, что фотография удерживает человека. Иногда плохо, иногда несправедливо, но удерживает. С Миладой происходило обратное: чем внимательнее он смотрел, тем меньше был уверен, что знает, кого снял. Он убрал карточки в конверт и написал на нем фамилию: Валевская. Потом зачеркнул.

На чистом месте написал: Милада.

И впервые за долгое время ему захотелось не фотографировать человека, а увидеть его снова.

Глава вторая. Абажур

Линии Васильевского острова нарезаны по линейке, как прутья в клетке, и нумерация их – единственная в городе попытка заменить имена числами. Попытка удалась не вполне: числа здесь все равно произносят с интонацией имен, и «двадцать шестая» звучит так же, как «Мойка» или «Фонтанка», – то есть как приговор, вынесенный еще до рождения.

К следующему визиту Игорь уже знал, что в эту квартиру нельзя войти незаметно. Дом стоял в третьем дворе, и попасть в него можно было только сквозь первый двор, потом сквозь арку, потом сквозь второй, где всегда было мокро. Небо над третьим двором имело размер почтового листа и цвет цинковой ванны.

Запах в парадной лежал слоями, как порода: внизу – подвальная сырость, выше – кошки, на втором – жареный лук, а поверх всего тонким слоем шла карболка, будто дом понемногу лечили. Ступени были стерты посередине до вогнутости – за сто лет ноги оставили в камне русло пересохшей реки. В чугунном завитке перил застряла фольга от плавленого сырка, пролежавшая там, судя по цвету, дольше, чем существует кооперативное движение. На площадке

третьего этажа висело зеркало с черной амальгамой по краю: оно возвращало лицу ровно половину, и та половина всегда была хуже. Потом надлежало не ошибиться со звонком, хотя дверь часто открывали раньше, чем успевал прозвучать второй звонок.

В квартире было четверо жильцов, несколько звонков и одна кухня, на которой все считали себя временными хозяевами.

Игорь уже сидел на табурете у стены. Тамара Петровна раскатывала тесто, не обращая на него особого внимания; граф Виктор Ламберт рисовал чайник, а кот на подоконнике следил за мухой, которой в октябре взяться было неоткуда. Милада прошла в свою комнату и оставила дверь открытой. Игорь видел ее в глубине комнаты, за ширмой, и пока не знал, следует ли ему смотреть туда или делать вид, что он рассматривает кухню.

В тот первый вечер он почти ничего не понял в устройстве квартиры. Только заметил, что здесь у каждого была своя территория и что границы ее соблюдали не из уважения, а ради возможности дожить до следующего утра. На плите у каждой горелки имелся хозяин; кастрюли стояли с бирками. Очередь к раковине не объявляли, но все знали, кто за кем моет посуду и кому нельзя занимать конфорку после девяти.

Дверь квартиры была обита дерматином, с медными гвоздиками, выложенными ромбом. В коридоре висел на крюке велосипед «Урал» с передним колесом, пристегнутым отдельно, как заложник. График уборки соблюдался в том смысле, в каком соблюдаются международные договоры: подписи стояли все, действия не производил никто. Над раковиной с одним краном висел счетчик, и свет делился на восемь частей с точностью, какой не знал ни один раздел имущества.

В конце коридора была дверь, не ведущая ни к кому. Сдвижная, обитая той же клеенкой, что и кухонный стол, она выглядела как шкаф и, по общему мнению, шкафом и была. За ней помещался санузел: унитаз, бачок с веревкой, рулон на гвозде и таз. Пространство для уединения было отпущено квартире в размере шкафа, и жильцы не тяготились: уединение здесь считалось роскошью, а роскошь дозируют.

Позже, вспоминая первое посещение, Игорь прежде всего видел кухню. Четырнадцать метров, с двумя окнами во двор и плитой на четыре горелки. На стене, под стеклом, в рамке от фотографии девять на двенадцать, хранились талоны – сахарные, водочные, табачные, – выложенные веером, как коллекция редких банкнот. Тамара Петровна называла их «мои бумаги» и протирала стекло по субботам. Рядом висел отрывной календарь за 1988 год – бумажный регистратор имперских юбилеев, – и его обреченные листки терпеливо падали, отсчитывая то двухсотпятнадцатилетие пугачевщины, то годовщину Первого Интернационала, будто история все еще пыталась объяснить кухне, что ничего не кончено. На подоконнике сохли три апельсиновые корки на газете «Смена»: их берегли для чая, который благодаря им приобретал вкус праздника, недоступный никакому импортному напитку.

Город по документам назывался Ленинградом, а на этой кухне – Петербургом, и это была единственная в квартире разница, которую никто не оспаривал.

Абажур висел над столом, на шнуре, вкрученном в патрон прямо в потолок. Шелковый, цвета остывшего чая, с бахромой, прожженный с одного края семидесятипятиваттной лампой, он превращал электричество в мед. Под этим медом все в кухне становилось лучше, чем было: клеенка в мелкий цветочек – ситцем, чайник – серебром, руки Тамары Петровны – руками женщины, которой не надо лепить пельмени впрок на несколько человек, а можно просто сидеть. Абажур был единственным источником света в квартире, который не требовал очереди, и потому под абажуром всегда кто-нибудь сидел.

Чаще всех – граф.

Виктор Ламберт сидел на венском стуле, спиной к окну, с застегнутым воротничком, и спину держал так прямо, будто позвоночник выдали ему по описи и велели вернуть в том же виде. Рисовал карандашом «Koh-i-Noor», твердость ТМ, сточенным до половины, и рисовал

то, что стояло перед ним: чайник, солонку, спичечный коробок «Волна», собственную левую руку. Рисунков была стопка в четыре пальца, и все они были закончены, и ни один не был подписан.

Кот, которого Тамара Петровна звала Васькой, а граф – Птолемеем, лежал на подоконнике и отзывался на оба имени, потому что был петербуржцем.

– Располагайтесь. Места немного, но, уверяю вас, оно привыкло к гостям. Сахар, правда, по карточкам, но у Тамары Петровны карточки, а у меня – стихи, и в этом доме установился обмен, который я бы назвал справедливым, если бы позволял себе судить.

Тамара Петровна, в бигудях, раскатывала тесто и молчала с достоинством человека, который слышал эти строки четыреста раз и всякий раз находил их уместными.

Комната Милады была двенадцать метров и содержала ровно то, что нужно женщине, у которой есть прошлое и нет площади. Ширма в цветочек отгораживала кровать от двери – не для скромности, для географии. Трельяж с отбитым углом собирал лицо из трех частей, и всякий раз получалось новое. Швейная машинка «Зингер» на чугунной подставке, с педалью, с лакированным корпусом, на котором золотая надпись стерлась до слова «…nger»: машинка досталась от бабушки, и вместе с машинкой досталась фамилия. Халат на гвозде, белый, с двумя зашитыми карманами, – единственная вещь в комнате, у которой была служба. Флакон «Клима» на кружевной салфетке, пустой на две трети, и рядом флакон без этикетки, полный до пробки. Проигрыватель «Вега» с треснувшей по углу крышкой; колонка одна – вторая бы не ужилась на этой площади, – и звук приходил в комнату с одной стороны, как дурная новость.

На стене, в рамке, висела фотография: женщина с высокой прической, в платье с воротником-стойкой, снятая в ателье с колонной и занавесом, и рука ее лежала на спинке стула так, как лежат только на своей мебели. Рядом, под тем же стеклом, был вставлен обрезок другой карточки: край, на котором виднелся чей-то локоть в сукне с петлицами.

Игорь спросил, кто это.

– Локоть, – сказала Милада и перевела иглу.

Слово он не записал: записывать было еще некуда.

Она достала пластинку. Конверт был без типографии, серый, с надписью фломастером: «ЦЕНТР». Василий Шумов. Пластинку она держала за края, двумя руками, как держат причастие или чужого младенца, поставила, опустила иглу, и игла, стертая до свиста, сначала прошлась по шипению, как дворник по гравию.

Голос был негромкий, московский, с той усталой насмешкой, которая в этом году заменяла интеллигенции веру. Голос Шумова звучал бесстрастно, почти служебно. Он сообщал о вещах, которые в обычной жизни принято либо скрывать, либо обсуждать шепотом, и сообщал с таким видом, будто зачитывал инструкцию по эксплуатации холодильника. Музыка не столько развлекала, сколько фиксировала окружающую действительность: нелепую, немного угрожающую и совершенно не склонную объяснять собственное устройство. Милада стояла у ширмы, слушала, и комната делалась другой: ширма становилась кулисой, трельяж – гримировальным зеркалом, «Зингер» – реквизитом, а окно во двор, где сушилось белье, – задником, написанным специально для этой сцены и никем не оплаченным.

За стеной стукнули по трубе – коротко, дважды, что на коммунальном языке означало «умерьте», а не «прекратите». Милада прибавила громкость на четверть оборота: ровно столько, чтобы стук стал частью оркестра.

Игорь снял ее четыре раза: у ширмы, у окна, с флаконом, без флакона. Когда он опустил камеру, она вынула аппарат у него из рук и поставила на стул, объективом к стене.

– Все?

– На сегодня.

– Хорошо.

Она поправила ему воротник, хотя воротник лежал ровно, и пальцы задержались у шеи. Поцелуй вышел коротким; Милада сама отстранилась, не отступая.

– Ты всегда так торопишься получить результат?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.